

Владимир СВЕТЛОСАНОВ

К ХОЛОДНЫМ БЕРЕГАМ

Серпухов

Над Серпуховом серый пух,
и облака плывут на север,
и выбирай одно из двух:
трава забвенья или клевер.

Смотри на остовы церквей,
стоящие немym укором,
или над Нарой грусть развей,
бродя весь день по косогорам.

Здесь, на холмистом островке
возвышенности среднерусской,
Русь уплывает по Оке
вверх по течению — к Тарусе,

к поленовским ее лесам,
к мусатовским ее запрудам,
к порушенным ее церквям,
застывшим в ожиданье чуда.

Шахматово

Если ехать от Москвы на север,
ехать не спеша, часов так пять,
край найдешь, где тишь да благодать,
подорожник, одуванчик, клевер,
блоковская в клеточку тетрадь
и такой простор в простом напеве,
что не повторить, не передать.

Край холмистый, светлый, соловьиный,
заповедный шахматовский край,
липами, усадебной малиной,
и дрожащей на ветру осиной,
и столетним тополем встречай;
тенью Блока с профилем орлиным
облака и тучи помечай.

Дорог мне пейзаж твой одинокий,
захолустный деревенский вид,
дедовский, от всех дорог далекий,
он о темном прошлом говорит;
ель высокородная стоит,
и лесной элизий, как при Блоке,
листьями чуть слышно шелестит.

Гингго

Стоишь, иероглиф ветвистый,
напомнив мне старое хокку
про сбор белоснежного риса
и сакуру, символ Востока,

Про теплое южное море...
Как будто мне с листиком гингго,
как с веером, странствовать вскоре
в толкучке блошиного рынка.

Во сне, с непонятной тоскою
блуждая в реликтовой чаще,
я помню, как гладил рукою
японское дерево счастья.

Северное лето

Печенеги-дожди, неожиданны ваши набег,
мокнет низкое небо, высокая гнется сосна
в том далеком краю, у Печоры, Двины и Онеги,
в том холодном раю, где Онега, Печора, Двина.

Я бы двинул за вами в крестьянской скрипучей телеге,
да она, развалюха, стоит ни на что не годна,
и кончается лето, и в Лету впадают все реки,
ведь забвением вечным отмечена Лета одна.

Клюев

Клюев, старик Лука,
на олонецкой травке
вносит свои поправки
в майскую песнь жука.

В райскую жизнь избы
вносит расколы строчек.
Почерк его судьбы —
бисерный, мелкий почерк.

Сочной порос травой
этот почти что эпос.
Сосны над головой,
а над соснами — Эос.

Vita nova

Блажен, кто знает кодовое слово,
тот, для кого открыты времена,
а для меня закрыта vita nova,
и за железным занавесом снова
родная речь, и люди, и страна.

Закрытые на ключ подъезды в доме
мне говорят о том, что я чужак.
Как неуютно жить на переломе
эпох, когда стоять в дверном проеме
нет больше сил — и не войти никак.

Письма с Понта

Линия горизонта
в густом тумане.
Вот они, письма с Понта,
в моем кармане.

Это Овидий пишет,
а это — Плиний.
Над головой колышут-
ся ветви пиний.

Вот перенос, достойный
на самом деле
Бродского. Он спокоен
на Сан-Микеле.

Спит, временами пишет,
но не читает.
Ветер листву колышет,
стишки листаёт.

Встанет сейчас и с понтом
L&M закурит,
а про стихи не вспомнит —
мол, не волнует.

О ветре

И вновь о ветре. Пушкин, Шелли, Блок
о нем писали оды и поэмы.
Поветрие, ветрило, ветерок

и ты, ветрянка, коей в детстве все мы
переболели. Ветер перемен
и ветер странствий с Запада приходят

на наш Восток и, повести времен
перелистав, порядок новый вводят.
И вновь — застой, безветрие. Бог даст

и этому свое определенье.
Все суета сует. Травой забвенья
все зарастает. Прав Екклесиаст.

Тополя

Листва летит с тополей,
как будто они вещают
о молодости моей,
оставшейся за плечами.

«Прощайте» им говорю,
и слышу их «до свиданья»,
и память о них рублю
под корень в своем сознание.

И дело не в тополях,
и прошлого мне не жалко.
Летит, превращаясь в прах,
листва Центрального парка.

Ладога

Захотелось мне ехать на Ладогу
(ладно бы, как и все, на юга),
улететь вслед за ласточкой надолго
в те края, где туманная радуга,
да дорога туда далека.

Захотелось с земным притяжением
ладить с легкостью взмаха руки.
До свидания, до возвращения! —
отдаляется стихотворение
от отставшей от стаи строки.

Ближе к ладу, к ладоням и ладану,
к валаамским седым облакам,
блудный сын по невидимой радуге,
как домой, возвращается к Ладоге,
к тем, холодным, ее берегам.

